



ИЕРУСАЛИМ

Фрагмент романа

Хождение четвертое. Война

Елена Николаевна Крюкова родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. А.М. Горького. Член Союза писателей России, член Творческого Союза художников России. Поэт, прозаик, искусствовед. Лауреат премии им. М.И. Цветаевой (2010), Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2014, 2016, 2019, 2021), международных литературных премий им. И.А. Гончарова (2015), им. А.И. Куприна (2016), им. Э. Хемингуэя (2017, Канада), Южно-Уральской премии (2017), им. С.Т. Аксакова (2019), им. Ф.И. Тютчева (2020), журнала «Север» (2020), им. Н.Н. Благова (2021), им. С.Н. Сергеева-Ценского (2021) и др. Публиковалась в литературных журналах России и стран мира (Франция, Германия, Болгария, США, Канада). Создатель авторского «Театра Елены Крюковой». Живёт в Нижнем Новгороде.

Сибирь распахивалась перед ней, как старьё, окованный лентами ржавой жести крепкий сундук. Вера видела дома и не видела их. Яснее, больнее всего она видела землю под ногами.

Её башмаки вконец износились. Хотела их сбросить и боюю идти, но боялась изранить ступни, и ещё боялась холодов.

Однажды летом на неё напали пчёлы. Она не отмахивалась: стояла и ждала блаженной казни. Одна, две пчелы укусили её. В руку, в щеку. Щека распухла. Пчелы улетели. Она шептала молитву. Собака легла у её ног и закрыла морду лапами: она боялась пчёл.

Страшный Суд, шептала Вера себе неслышно, аллилуйя. Жаль меня острыми жалами, Господь, бей, казни. Я — грешница. Там, среди облаков, пчёлы водятся

ли? Между туч люди летят, Суд гремит, а музыка звучит. Она звучит внутри.

В ней, пока она шла, звучали их с Зиновией песни. Звучал рояль, потом орган, потом скрипка жалобно плакала и ныла, потом хор безжалостно обрушивал великие небеса, и они рассыпались на тысячу снежных, ледяных кусков. Потом звучало всё что угодно, музыка становилась миром вокруг Веры. А Вера ужасалась своим грехам и, пройдя по земле ещё малый отрезок пути, садилась на землю или даже ложилась на неё: ничком, чтобы теплее, ближе ощутить.

Ночевала где придётся. Иногда люди пускали её в сени, а собаку оставляли во дворе. Иногда гнали в шею: «Да пошла ты, катись колбаской, бродяжка!» Оставался вокзал и ожидальный зал, прибежище бездомных.

Однажды ночевала Вера на маленькой железнодорожной станции, спала сидя на жёсткой лавке. Собака спала рядом, плотно прижималась к её ноге в изношенном башмаке.

И тут, на дальней станции, Вере приснился Царь. Сначала она увидела его в блеске и славе. Царь сидел на троне и протягивал руку вперёд. Невидимый слуга вложил в руку Царю скипетр. Другую руку Царь поднял ладонью вверх. В неё прислужник положил тяжёлую, как круглая земля, державу. Царь крепко сжал золочёные знаки власти. Вера во сне вздрогну-

ла всем телом, как собака. Она видела Царя, его жену и детей только на святой иконе в монастыре, в покинутом Иерусалиме. Ты же давно святой, хотела она во сне сказать Царю, к чему простой женщине снятся святые? Царь едва видно улыбнулся. Его озёрно-светлые, холодные глаза вспыхнули горем и прощением. Вера захотела кинуться к его ногам. И тут вдруг Царь превратился в маленького лысого человечка. Человечек сидел на троне, где миг назад сидел Царь, и держал в маленьких ручонках скипетр и державу. Удерживал с трудом. Держава заскользила, выпала из детско-стариковской шутейной ладошки, упала и разбилась. Осколки ослепили Веру. Во сне она закрыла лицо рукой. Отняла руку: лысого на троне уже не было. Сидел другой. Сивый, невидный. Тонкая умная улыбка прорезала бледные одутловатые щёки в еле заметных оспинах. Он смотрел вниз и вбок. И Вера туда поглядела тоже. К трону подвели человека с заломленными за спину и перекрученными проволокой запястьями. Человек смотрел не на трон. Он смотрел мимо и выше.

Вера поняла: пред очи нынешнего Царя привели Пророка. Пророк молчит. Что он может сказать тому, кто делает вид, что видит, и притворяется, что слышит?

Вера хотела рвануться вперед и крикнуть: «Эй! Давай я за тебя скажу! Пока мне глотку не

перерезали!» — но тяжёлый сон опутал её, как лошади, ноги и не давал бежать.

Ты, сказала она себе в отчаянии, ты примерила на себя платье чужой страны, ты ходила в платье святой веры, ты, Вера несчастная, и кому ты была нужна на чужбине? Вот — твоя страна! И твой Царь! Да, это всё твои Цари, и зачем тебе от них сбежать? Где родился, там и сгодился! Ты брела вон от родины, ты хотела... А что ты хотела? Увидеть чужие края? Выполняла волю мёртвой подруги? Перед нею, как живые, встали кружевница Анна Власьевна и старушка Расстегай; они обе, морщинистые и весёлые, весело смеялись и размахивали руками, друг другу пытаясь указать на Веру; они видели её, но не могли до неё докричаться. Ты, шептала Вера себе, ты забыла свой народ! Какой он нынче, твой народ? Он другой! Может, он и не примет тебя, другую? Возомнила себя там, на чужбине, святой! А вот народ твой — новые скоморохи и новые бояре, новые нищелюбы и новые богатеи; богатеи зажрались, а нищие голодают, всё как надо, всё как встарь! Башню люди строят всё ту же: до небес. За облака хотят прорваться! Всё выше и выше! А ты? Полезешь ли на ту башню? Ринешься ли с неё вниз?

И разобьёшься... как та держава... на тысячу кусков...

...проснулась и долго не понимала, где она и что с ней. Собака строго сидела и внимательно глядела на Веру.

Собака хотела есть.

Вся животина всё дрожащее зверье и птичьё

На человека хочет поменять обличье

Всё отчаянное моё зверьё и птичьё

Клекочет рычит-стонет уснёт впадёт в забытьё

О голуби сизые фениксы кто вы безвестные

Не голуби мы а ангелы небесные

Мы ангелы мы твои архангелы-сироты

Очи наши бездонные твоей лопатой вырыты

Живые куда вы летали лёгкие-любимые

В каких небесах распахивали крылья голубиные

Летали мы девушка на прощенье-прощание

На вечной жизни небесное обещание

Твоя душа с телом однажды расстанется

С руками-ногами простится в глаза как в зеркало глянется

Поднимем тогда на небо мы душу крылатую

И сверху глянет она на тело избитое распятое

Приведём душу ко дворцу Небесному Граду

А она плачет не требует награды

Приведём душу во Ад где в котлах масло варится

А грешники на сковородах адских стенают-жарятся

Отвернётся душа не нужен ей Ад

Крикнет нам ангелам несите меня назад

А назад нельзя из Ерусалима Града Небеснаго

Из света звезднаго дня воскреснаго

Приведём тогда душу ко гробу где тело спит в земле

А черви едят его во сырой во мгле

И воскричит душа моя погодите меня черви точить

Я ещё хочу молиться ещё хочу любить

Отпустите меня к людям на людей поглядеть

Я стану людям новые песни петь

О том, чтобы они зверей птиц да рыб берегли

На самом краю неба и на краю земли

Потому что живое оно живо и лонись и надысь

Животина не может Богу молиться а ты молись

Люди кланялись ей, ловили её руки и старались поцеловать их, а какие и осыпали её проклятиями, а она всё шла и шла, и серая змеиная шкура асфальта покорно ложилась ей под ноги, и

становилась Вера двужильюною, не нужны были её зренью и слуху названия сёл и городов, она понимала: это уже Сибирь, вот она, родная. Обь Вера перешла по мосту. Она останавливалась и долго глядела вниз, на текучую воду. Холодная вода! Её города! Боже, зачем ей был далёкий Иерусалим! Аннушка, шептала она облакам, Анна Власьевна, я всё сделала хорошо, я твою волю исполнила, не правда ли? Из воды, крутящейся около быков моста, на неё смотрели лица, и это были лица родителей. Отсюда, с высоты, отец и мать казались ей благочестивыми и благородными; волосы их светились золотом, глаза сияли торженно, прощая Вере даже то, что она не делала никогда. «А после вместо матери у меня Анна Власьевна была», — шевелились Верины губы, обсушенные ледяным ветром. Вера вспоминала детские игры, шалости и веселье, а может, боль, слёзы, и тьму, и паутину по углам — и ничего не могла вспомнить. Да и было ли детство? Ей казалось, она слишком рано ушла из дома. И потеряла детство. А может, ей просто не дали им всласть полакомиться.

Она пыталась вспомнить обиды, уколы, укоры, ругань, побои, насмешки, издёвки — и не могла: может, в её жизни и не было ненависти? Как тряпкой вытерли, стёрли из памяти бандитов в Иерусалиме, синагогу

в крови. Зато она помнила, как усердно работала во славу Божию в монастыре. Как книжки там читала: умные.

Вера глядела на обскую воду и думала: сколько же тут рыбы! Отравляет человек водоёмы свои, а рыба всё не сдаётся нефти и яду. Перейдя на восточный берег, она вознамерилась порыбачить. Да удочки не было у неё, и крючков, и поплавков, и червей. А хорошо было бы рыбу поймать да в костре запечь. Она села на берегу на старую лавчонку, так долго сидела, глядела на воду, на закат. Побрела дальше. Собака за ней. Дошла до церкви; железные, с чугунным узорочьем, двери закрыты, в последних лучах медного солнца сверкает начищенный замок. Вера села у дверей храма, обняла колени, склонила голову, закрыла глаза и погрузилась в нежную дрему.

Ночью к ней подошёл пьяный подросток и поднёс зажигалку к её подолу. Ряса загорелась. Вера проснулась от боли и от огненных сполохов перед глазами. Закричала. Мальчишки давно след простыл. Собака выла, как при мертвеце. Вера, в горящей рясе, сбежала с церковного крыльца, каталась по сырой и холодной весенней земле. Сбила пламя. Чулки её сгорели. Она смотрела на свои ноги в ожогах и спрашивала себя: Господи, мои ли это ноги? А может, чужие?

Она сняла сожжённые чулки и выбросила их: всё равно скоро тепло! Трудно побрела дальше.

Обожжённая кожа болела. На обрыве стояла больница. В больничном саду медленно и тоскливо гуляли старые люди в халатах и тапках. Старухи из больницы выпросили на больничной кухне подсолнечного масла, принесли Вере; она мазала маслом ожоги, плакала и смеялась. Собака стояла рядом. Она всегда была рядом. В отличие от людей, которые всё время куда-то — и навек — исчезали.

Идя и думая о многом человеческом и Божием, она стала жалеть, что в своё время не вышла замуж, или что её не обвенчали нарочно, насильно. Глядя в лица мимохожих женщин, она думала про каждую: вот у неё дома муж, дети, а то и внуки! — и ей становилось пронзительно, светло и жалко себя. Одинокая! Как больно! Она думала тяжело и отчаянно: семья — это ведь маленький храм, а я так и не пожила в этом малюсеньком, милом и отчем храме, не убирала его, не обходила его. Ей захотелось быть хозяйкой, матерью, но она шептала себе: ты мать Вера, тебе вера только одна и осталась, слишком поздно! — и зудящее слово «поздно» жалило её злой пчелой, укалывало ядом грядущей смерти. Смерть летала близко, Вера чувствовала её чёрное дыхание и лёгкий неслышимый перестук её костяшек, но давно она смерти не боялась.

Только всё время было жаль, смертельно жаль чего-то. Или — кого-то.

Тот человек с ручным питоном в Москве... тот бродяга, Алёшенька, в Одессе, монах-расстрига... Липа Гузман, чернобородый богатырь, на жаркой восточной улице, и золотой попугайский коготь серьги зацепился за ухо, и камни все в трещинах от солнца... Сестра Васса, её ночной шёпот, и вот бросает ей ломтик лимона в крепкий, как вино, чай, а на сахар указывает тоненьким пальчиком и смеётся: «Сладкое — наслаждение, грех!» Лицо Зиновии. Лицо N. Боже мой, Боже! Сколько же лиц у Тебя!

Она пыталась отомолить то, двойное иерусалимское убийство, когда она, убегая из притона, выстрелила сначала в рот насильнику, а после в живот безымянному часовому; она убила двух людей, и страшно было жить кожей и кровью сращённой с пожизненным проклятием, чудовищным, сиаемским уродом-близнецом: душа и грех. «Я убила, Господи! Человеков убила! Живых! Одного и другого! И не охнула! Но это же была война! Моя война! Да, сделай так, Господи, чтобы будто бы я убила этих людей не в мире, а на войне. Да ведь это и была война! Моя война! Я — жизнь свою спасала, а то бы убили меня. Баш на баш! Никому жизнь не отдашь! И всё же, всё же! Я взяла на душу смертный грех. Боже, милый Боже, прости мне! Если можешь! Ты — можешь! Я с таким грехом — жить не могу! Долго

не проживу... И до Енисея — не дойду...»

А если — дойти? Енисей близко. Дойти, и осесть, и пустить корни, и — врасти? И земные поклоны класть без усталости; и рукодельем заняться, и дарить поделки направо и налево, и однажды отвезти ручную вышивку в воинскую часть, пусть солдаты повесят в торжественном актовом зале вместо ковра. Она смеялась над собой: чушь прекрати думать! — да ты же не вышьешь гладью ни танк, ни пулемёт, вот Распятие — да, вышьешь; и подаришь изделие своё в храм, там тряпка твоя шёлковая будет нужней.

Крест вышить. Чёрный крест.

Красный лучше. Ткань снегов расстелена. Остановиться, ноги устали, сесть на снег. Нож попросить у прохожего мужика. Якобы воблу почистить! Или — колбасу! И полоснуть по запястью. Кровь брызнет. Это твой шёлк. Лей на снег! Вышивай! Живёт только то, что вышито кровью. Про что спето кровавым горлом. Всё остальное — сдохнет. Собака моя, ты не сдохнешь! Ты умрёшь, как человек. Да ты человек, у тебя человеческие глаза. Полные слёз.

А люди, спрашивала Вера себя, они кто, рабы или цари? Кого в них больше — царя или раба? Всё больше и сильнее она хотела служить самым слабым, последним. Самым битым и насмерть забитым. Вот они точно мало любви в жизни видели. Да

что там! Не видали её совсем! А зато сколько смеялись над ними! Пинали их, гнали! Самой драгоценной награды они достойны. И не шёлковой вышивки. А — чего?

Крови твоей на снегу?

На церковном подворье кормили бедных — Вера старательно плескала черпаком из котла в подставленные алюминиевые, цвета серебряной полночной Луны, миски горячее варево, кромсала тесаком хлеб, совывала миски в руки нищих, согбенных и дрожащих. Люди медленно брели к накрытым чистой клетчатой клеёнкой столам, прижимая к себе драгоценную миску, нюхали луковый пар. На краю стола излучал жар самовар, как в старое доброе время. Времена смещались, и не становилось времён. И Вера, когда все поедят, собирала со столов пустые миски, складывала их грязной горкой и смиренно тащила мыть — открывала уличный кран, холодная вода обжигала, веселила пальцы.

Услужить человеку! Она и не знала, до чего это хорошо. Да, в монастыре послушания инокиням назначались всевозможные; а такого широкого, как ветер, счастья никогда не испытывала. Правду говорят: своя земля и в горсти мила. Всё глубже зарывалась Вера жадными руками в широко распахнутый сибирский сундук, и она знала, там, на дне, лежит и любовно вздрагивает

всеми излуками и порогами её серебряно-изумрудный, дымящийся Енисей, — уже скоро, уже завтра она увидит эту морщённую ветром, вышитую светом скатерть. Дойти и услужить! Что будет творить, не знала. Но глодадо изнутри: сотворить! возвести!

Только б не война! Только б не война...

Тут мысль обрывалась, она скусывала её, как нить. Пыталась увидеть перед собой N — его руки, его лицо. Какой он был? Она не запомнила его. Издали, отсюда, он казался слишком гладким. Блестящим. Гладко оструганным. Она вместо его лица видела гладкую отполированную кеглю. Вместо его рук ощущала лишь их далёкое тепло. Они были такие тёплые, когда он брал её руки в свои. Это было одно, что он себе позволял. Ласку к ней. Благоволение.

Мужчина крепко сжимает руки женщины: благословляет её.

На объятье или на разлуку, это всё равно.

Люди иной раз были как бесы, а ангелы спускались с облаков в виде людей. Мир Верхний и Мир Нижний мешались, варились в единой похлёбке, красной солянке. Людская площадь большого города чудилась Вере живым котлом. И она, вдруг — огромного роста, упираясь головой в небеса, брала котёл за ржавую дужку и еле поднимала, тяжёлый, а кипяток булькал,

и время выплёскивалось и обжигало ей локти и ноги. Бессонной ночью на стылом вокзале, на безымянной станции Вера вставала на раннюю молитву, как в монастыре. И люди оглядывались на неслышно творящую молитву суровую монахиню в потрёпанной рясе, и отворачивались, и стыдливо поджимали забывшие о молитве рты, и вздыхали.

Бесы таяли и разлетались пылью от утреннего правила, а ангелы в виде людей придвигались к ней ближе. Поезд подгромыхивал к перрону, Вера подходила к вагону, низко кланялась проводнице и глядела безмолвно; когда её сердито и жестоко прогоняли, а когда и украдкой, туда-сюда глазами постреляв, пускали в вагон и шептали: «Посиди, матушка, или даже лучше в тамбуре постой, так и доберёшься, а тебе куда? А собака — твоя? Мы со зверями не пускаем, нет...» Она молчала.

В плацкартный вагон они торжественно входили вместе с рыжей собакой и шли мимо всех незнакомых жизней, проходили их насквозь, навывлет.

Где место было свободно — она садилась, и собака клала голову ей на колено.

Ей говорили, что скоро начнётся голод, что людям не платят денег за работу, говорили, как люди воруют еду на рынке и кошельки из карманов, а ещё говорили попутчики, что скоро начнётся война, и Вера молча

опускала голову. Старик с заплечным мешком спускал с плеч верёвку, развязывал дорожный мешок, вынимал хлеб и жевал его беззубым ртом. Шамкал, глаза закрывал. А потом открывал, и летели из его глаз искры, как от ночного костра, в Верино лицо. «Земля не родит! Дороговизна всюду! Нищие бродят и вопят! Люди в дальних сёлах — в полях сено крадут! И продают! Кражи всюду, воры по домам шныряют! Где и голодуха сильная! Люди людей убивают за копейку! Болезни старинные ожили! Ни похоронить толком, ни родить! Времечко!» Рябая баба на полке напротив, глазёнки крошечные, как у свинёнка, часто-часто моргают, аж сморщилась вся от гнева и покраснела. «Старый пень, каво болташь! Однако дрянь несёшь! Мало-мало охолонь! Сено, вишь, у нево скрали! Скажи спасибо, што савомо не скрали! Щас, наоборотки, еды завалися! Мясов, курей, всево! А ты... фух!» Баба махнула рукой на старика, как на муху. Вера широко, медленно перекрестилась.

«Молись, матушка, — кинул ей старик, будто голубю корку, — верное это дело, молитва. Да молодые над ней смеются! Ржут как кони!»

«И опять што валишь, дед! — встряла подслеповатая рябая баба. — Щас наоборотки молодёжь верует! Ищо как верует! Нам с тобой и не снилося! Чеши,

чеши языком-то! Может, враль-ну язву и начешешь!»

Вера тихо читала вечернее правило. Солнце закатилось. Тьма наползала на землю.

Посреди светлой весенней ночи поезд встал и долго стоял. Вера вскинулась. Она спала сидя, голову положила на вагонный стол, руки её упали плетями. Молчание поезда разбудило её. Сердце толкалось в рёбра. Ничего не понимала она, только знала: круг замкнулся.

«А может, это и есть мой Иерусалим?»

Собака, что умно и покорно спала возле её ног, подняла голову и задвигала большими стоячими ушами. Вера вскочила. Побежала по вагону, на ногу припадая. Собака — за ней. Ряса обвивала Вере голые ноги. Ранец, подпрыгивая, бил по спине. Башмаки стучали по вагонному полу. Добрая проводница, что пустила её в поезд, презрев наказание начальника, вытаращилась изумлённо: «Вам, монашка, до Красноярска разве? Так каво вы мне сразу не сказали?!»

Вера вылетела из вагона на перрон. Нежная майская ночь выливалась белый мёд на город из громадного полночного ковша. Поднялся ветер. Он мял и грубо крутил Верину рясу, бил собаке в нос незримым кулаком, и собака повизгивала. Вера наклонилась и погладила по голове собаку. Её губы задрожали, и по

щекам на отошдалую шею стекли, как дождь по стеклу, упрямые, нищие слёзы.

— Я вернулась, — тихо сказала Вера собаке.

Верини колени подогнулись, и она села на перрон, и крепко обняла рыжую собаку, и притиснула к себе, и морду собачью к груди прижала, и поливала слезами.

Мир — не покойник, которого надо обмыть,

Мир — не смертельно больной, и нельзя прикасаться к одежде;

Мир — он тянется, длится, вьётся, как нить,

А клубок заново не смотать, чтобы сделалось всё, как прежде.

Заболел ты? При смерти? Так я о тебе помолюсь.

Помолюсь так, что не пристанет ни язва, ни мор, ни проказа.

Это служба моя такая: мыло, банный веник и дуст,

Хлорка, известь и щёлок, и навек погибает зараза.

...Мир, ты врешь всё. Ты болен! И я твой врач.

Я лечу тебя этими страшными, жгуче простыми словами:

Отче наш, и Богородице Дево, хоть плачь,

И Сорокоуст, и вот Он, крылатый, в метели идёт между вами.

Ну, зови же скорее, бедный, болезненный, к себе меня,

И прибегу, задыхаясь, глазами светясь, путаясь в рясе —

Я успею до твоего погребенья, до этой тяжёлой вспышки огня,

До хоровода воплей, до рук в умирающем плясе.

А я-то, я-то!.. мнила, ты вечно, Мир, будешь жить!

А ты, дурачок мой, безволосый смычок, из жизни не извлечёшь ни звука.

И, увидев меня, последней Вере ты жалко выхрипнешь: «Пить».

И последней Любви протянешь дрожащую руку.

Только я на колени встану у последней койки твоей,

В последнем твоём полевом госпитале, пахнет потом и кровью,

Последняя твоя сестра, красный крест, меж последних твоих людей,

Последнюю воду в кружке поднося ко рту твоему, к изголовью.

Вера не узнавала улиц. Дома глядели сквозь неё и мимо неё. Она подходила к дому, ощупывала ладонями камни; камни излучали холод, а нагретые солнцем — святое тепло, и она склонялась и целовала камни, как чью-то живую щёку. Она шла по городу и видела яркие похороны, и

обитый красным шёлком гроб, и чёрный крест, вышитый на атласе; видела детей, что бегут в школу, за плечами их ранцы трясутся, ноги весёлыми ножницами режут весенний воздух. Видела, как в железных повозках едут люди — кто на работу, кто в гости, кто куда, — и думала: а вдруг в этой селёточной тесноте едет воскресшая Анна Власьевна, кружевница, едет весёлая старушка Расстегай? «Не воскреснет никто, нет чуда чудесней, — шептала она себе, — нами, мёртвыми, Бог вызвездил твердь небесную, из нас сложил Небесный Иерусалим». Ей хотелось быстрее вырваться вон из Красноярска: от себя старой, от себя прежней. Ноги несли её, она была благодарна своим выносливым ногам.

Рыжая собака послушно и весело бежала за ней, и однажды собаку убили. Её подстрелили специальные охотники на собак — видать, вышел приказ во всём городе перебить бродячих псов и кошек, Вера и ахнуть не успела: подкатил железный слепой фургон, выбежали два мужика, у одного охотничье ружьё, у другого пистолет, стали палить, чуть Веру не подстрелили. Она отбежала и упала на землю. Лежала на земле и видела, как её родная собака визжит и катается в корчах по асфальту. Затихла. Морда в крови. Меткие стрелки попали в бок и в голову. Шерсть потускнела, слиплась. Зубы

оскалились. Вера лежала щекой на тротуаре и видела, как мужики вразвалку подходят, ощутила летящий от них густой табачный дух, услышала табачную, смачную речь. «А бабу каво, тоже зацепили?» — «Посадят тебя, лешак!» — «Да не, живёхонька она, однако, глянь, шевелится». Вера встала на колени. Глядела, как её собаку волокли за задние ноги к фургону. Вбросили внутрь, в чёрный зев железной двери. Машина завелась, поехала, обдав Веру гадким синим, сизым дымом. А Вера всё стояла на коленях.

Перекрестилась. Она молилась за собаку.

А ведь она так и не дала ей имени; весь путь по земле звала её просто: собака.

Нарекаю тебя Рыжулей, шептала Вера и крестилась, будешь ты Рыжуля на небесах, а когда я приду в Небесный Иерусалим, ты там встретишь меня, да, именно там, ты помни, жди у врат.

Поднялась с колен и пошла дальше. Всё дальше и дальше.

Вышла из города, вокруг то стелилась степь, то колола ветер иглами весенняя тайга, лиственницы выпускали на волю, под тёплые руки ветра нежную пахучую хвою, и опять поля, и вспаханная земля, а под тонким слоем жизни — вечная мерзлота, и никто, никто не отогреет землю, никогда не оттаёт она. Зачем же тёплый человек всё шагает,

шагает по ней? Она с горечью думала о себе: может, она неправа, и надо было ответить на любовь знаменитого N, и жить с ним в роскошных его хоробах, и родить ему хороших детей, здоровых и красивых, разве это всё не Божие дело? Очень даже Божие, конечно, соглашалась она с собой, да я не Сарра и не Елисавета, стара рожать, и чуда не будет, и есть ещё мой Иерусалим, и я его возведу, пока я тут, на земле.

Что Вера имела в виду, когда шептала себе, как в солнечном бреду, идя по длинной, бесконечной дороге: мой, мой Иерусалим? Она не могла бы дать ответа. Подлинный Иерусалим, тот, что остался крыльями за плечами, разве он не был сном, да, ведь это был всего лишь сон, бормотала себе Вера, но зато какой красивый сон, правильный, честный, про людей, Бога и дьявола, про Литургию оглашенных и Литургию верных, а кроме Божественной Литургии, и нет у человека чистой небесной радости: ни у простого нищего, ни у великого царя. Под рёбрами, в груди, горело и тлело великое, царское чувство. Она пока не знала ему имени. Может быть, это тоже была любовь, один из её многих неуловимых ликов; Вера хотела быть и жить во славу Господа, а одна или с кем-то, она не знала; да ей это было всё равно; просто шла и шла, и на

ходу молилась, и садилась, чтобы отдохнуть, прямо на холодную землю, смеясь, и плакала о рыжей убитой собаке.

Ей подавали хлеб и деньги. Она низко кланялась, принимая милостыню. На краю села она увидела брошенную заимку; чернобревенный дом глядел выбитыми окнами, земля огожена длинными жердями, а жерди все на дождях, снегах и ветрах подгнили, посерели серебряно, покрылись трещинами. Вера отогнула гнилую жердь, поднялась на посечённое временем крыльцо, вошла в дом. И опять на неё пахнуло мёртвою, святой погибшей жизнью. «Может, дом этот меня как раз и ждал!» Лампа под потолком, и стекло разбито; у швейной машинки на подоконнике отодрано колесо, вон в углу валяется, поблёскивает голубиным серебром. Обои исцарапаны — котами ли, мышами. Старый портрет на стене, холст, масло, чья-то наивная, тюремная, простецкая кисть, издырявлен пулями: в портрет стреляли, и пробили лоб, щёки и спокойно сложенные на коленях руки, а под коленями скорбный малеванец изобразил лагерные бараки, крыши засыпаны снегом, поодаль из сугробов торчат кресты, тут живут, тут убивают, тут же и хоронят, и там, далеко, в зимней снежной кисее, колючая проволока. «Отец, отец мой, спасибо за привет с небес, ты не думай, я тебя помню, я за тебя

помолюсь». Вера встала посреди убитого дома на колени и долго молилась.

Потом стащила с плеч ремни ранца и вытерла лицо подолом истрёпанной рясы.

Устала. Вечерело. Холодало. Она вышла на крыльцо. Огляделась. Просёлочную дорогу окутывал туман. Май, думала она туманно, если землю вскопать и взрыхлить, и верно засеять, взойдут семена и рассада. У баб попросить? «Завтра в тайгу пойду, ручей найду, речонку какую, крапивы нарву, ошпарю, вот тебе и еда». Вспомнила, что в ранце лежит огрызок милостыни — кусок ржаного хлеба. Она вернулась в избу, вынула из ранца твёрдый, стальной ржаной и съела его. По щекам её текли слёзы. Вспомнила, как ела хлеб, в насмешку брошенный ей на сцену. Простреленный человек с портрета глядел на неё дырявыми глазами. У человека тускло мерцала из тьмы бритая маковка и печально светились сложенные, как в гробу, изработанные, в шишках и мозолях, руки. Бритый нарисованный ээк смотрел, как она ест хлеб и плачет, и без слёз плакал вместе с ней.

Вера поселилась на заброшенной заимке. В сараюшке нашла битые стёкла, застеклила и старой ватой законопатила окна. Топила печь даже летом, чтобы в избе тепло было. Нашла в избе,

за пещью, топор, и пилу, и другие инструменты, подмогу в хозяйстве; на полках отлично сохранились и горшки, и кастрюли. Ходила в село, туда приезжала три раза в неделю торговая машина, безденежную Веру уже все знали, из машины бросали ей бракованный, с запечённой грязью, хлеб, сельские старухи оделяли яйцами, пирогами, морковью, луком. Старой ржавой лопатой она вскопала землю, сама посеяла лук, картофель, петрушку, брюкву, китайскую капусту и огурцы. Явилась к ней одноглазая тётка из села, давала советы, с интересом, хитро косилась на Верину обтрёпанную рясу, хрипло спросила: «Из монастыря сбежала?» Вера молчала. Тётка подмигнула: «Давай постираю! А ты пока моё платишко поносишь». Вера улыбнулась: «Сама постираю».

Тётка вынула из кармана пачку сигарет, долго смолила, потом вытащила из-за пазухи чекушку. «Рюмки у тебя есть? А то давай из горла! Не побрезгуй, сифилиса у меня нету!» Вера молча улыбалась и глядела, как тетка пьёт — запрокидывая шею, жадно, как мужик, крупными глотками, без закуски. Зло утёрла рот. «Хоть бы морковку какую дала, мать! Да нет у тебя морковки! Вырасти ещё!» — «Выращу», — кивнула Вера. Пахло водкой. Из открытого окна тянуло хвоей. На жёстком лице Веры было нарисовано великое счастье.

Она обнаружила, что Енисей оказался тут, рядом — за земляной грядой, поросшей лиственничником и кедровым стлаником. Когда она выбрела на кручу над рекой, она даже закричала от радости — так был волен и сурово-торжествен царь Енисей, так размахнул он на полмира свою синюю, холодно-парчовую мантию. Резко-сизая, будто заиндевелая, синь жестоко ударила в глаза. Лежал под небом синий нож, и небо не могло схватить его и им разрубить время и давнюю боль. Вера стояла, руки по швам, как солдат, и глубоко, как на приёме у врача, дышала. Вдыхала родину. Сколько лет!.. без неё... А она и не считала. Толку было считать. У времени счёта нет; есть только его скелет, и костяшки тихо стучат друг об дружку, дужки рёбер, выгибы каменного черепа. Речной ветер безжалостно мотал подол Веринной старой рясы. Она ощутила себя старой, великой и вечной, как эта земля; и ступни её были уже тронуты мерзлотой, и волосы — инеем. Холодное лето шло и текло, шёл вдаль Енисей, царственно и мощно, к далёкому ледяному океану, и вместе с Енисеем Вера сама шла по своей земле, и теперь время ей было не страшно — ведь она вращала ногами в родину, и это было твёрже, важнее всего.

Спала Вера летом и осенью на лавке, укрываясь старым тулупом, — тулуп ей сельчане подарили;

зимой и весной на печи, и кости её, живот и затылок согревало хвойное, смоляное тепло. Долго горела лиственница, самая твёрдая древесина среди всех колючих таёжных цариц, так же долго, как Вера её пилила в тайге. А берёза быстро прогорала, и сосна. Немного дровишек надобилось Вере на зиму, она могла легко терпеть холод, иногда изба к утру вымерзала так, что брови и волосы Веры покрывались налётом инея, а изо рта, как у коня на морозе, шёл пар. Она вскакивала затемно и растапливала печь. Когда дрова начинали трещать и гудеть, Вера садилась на пол близ печного зевла и глядела на огонь. И вспоминала свечной огонь в монастырском Троицком храме, и Благодатный Огонь во храме Гроба Господня, и мерцающие ягодной лампы в их с сестрой Вассой строгой келье, и как она вставала к тому слабому детскому огню и молилась. И тогда Вера опускалась на колени около пылающей глотки русской печи и опять молилась. Она молилась на огонь, как на горящую золотом икону Божией Матери Владимирской.

Она строго соблюдала все посты, помнила все праздники. Вставала и ложилась с молитвой. Всё меньше думала о себе; всё больше о людях вокруг, о природе окрест, но более всего — о Боге в небесах. Здесь, на Енисее, Он оказался всех ближе к ней. И она не уставала

благодарить Его за такое чудо. Она думала о людях, что страдают близко и далеко, и, чтобы страдать вместе с ними и страдать, как Господь страдал, она в башмаки свои, под свои босые ступни клала черепки разбитой глиняной крынки, пучки крапивы и скорлупки кедровых орехов — и так ходила. Башмаки изнасились; тётка-пьяница принесла ей мужские сапоги, швырнула и заплакала: «Носи! На здоровье! Это муженька моего покойного сапоги. На счастье!»

И Вера обула ноги свои в чужие сапоги, и низко поклонилась вечно пьяной тётке.

...пьянь ты, рвань, — а я же так люблю тебя... Такая моя обнимальная судьба... Пригрудилась всех. Приголубила всех. Голубинный слышу над собой в небе смех. Глубинные течения... густая вода... а может, кровь... не выплыть никогда... убить без следа... любить навсегда...

...мир, ты моя пьяная, желанная беда...

Понемногу вокруг Веры стали селиться люди. Старики. Старухи. Бродяги. Беглые: девчонки, что удрали из интерната, мужики, что убежали из колонии под Енисейском. Они подходили к Вере под благословение. Строили на заимке, кто что мог. Кто поселялся в старых сараях, чуть подлатавши кривые доски. Кто даже в шалашах, потом себе времянку сооружал. Верина изба обрастала другими избами. Место

заброшенное, тихое, власти здесь не появлялись, машины сюда не заезжали. Возникла своя упрямая жизнь, и средоточием этой жизни была Вера. Так рождался её собственный монастырь, где она явилась всем молчаливой игуменьей, и все звали её: «Матушка!» — и даже без имени, просто — матушка, и всё. Земля родила, бабы заводили коров, косили траву и сушили скотине на зиму сено, зимою дым белыми рыбами на невидимых куках вставал над трубами, росла заимка, превращаясь в таёжный монастырь, и Вера понимала: это судьба, и надо радоваться ей. Она и радовалась, как могла.

Она приходила к каждому в его избёнку, в сарай; учила молиться, если не умели; учила сажать лук и морковь; учила детей чистить картошку, а их родителей — варить китайский луковый суп. В неурожайный год монастырь на заимке голодал, в урожайный — дома ломились от всяческой еды; насельникам кто привозил из других святых мест святые образа, а когда они и сами, перекрестясь, делали иконы — вырезали на берёсте, малевали на старых кухонных досках. Вера понимала: никакого церковного права она не имеет управлять самостийным лесным монастырьком; но так говорила себе: права у меня на это нет перед людьми, но есть перед Господом, — и просила: Господи, не дай мне покинуть моих людей,

не дай оставить их прежде времени, а дай им помочь, обиходить и обустроить их, и главное, Тебе научить молиться и к Тебе идти. Она вспоминала разговоры с Н про войну. Отсюда, из глубин тайги, война виделась смешным драконом, коряво нарисованным в детской тетрадке; замалюй его чёрной краской, зачеркни, и всё, умрёт он и больше не воскреснет.

Люди, кто мимо шёл, заходили на заимку — попросить кусок хлеба. И Вера, и насельники всегда мимохожим хлеб давали. Ещё и чем другим из съестного оделяли, и одеждой, если путник брёл в изношенной-дырявой, и образок в руки совали, и на дороге крестили. В монастыре Веринном никто не пил, даже та тётка-пьяница, из ближнего села, переселилась на заимку жить и бросила пить, хотя люди Вере говорили, женское пьянство не лечится. «С Богом излечимо всё», — говорила Вера и опять вставала на молитву.

Вера ходила в чужих дарёных сапогах, в чужих исподних рубашках: ей все дарили, с поклоном приносили, сшили ей из чёрной ткани новую рясу, старая уже совсем истлела и порвалась, — сшила та тётка, бывшая пьяница, на той самой сломанной швейной машинке; машинку починили, колесо на неё вздели, шурупы подвинули, челнок оказался исправен, и бойко тарахтела машинка, как полвека назад, во время войны с фрицем и лютых

лагерей, и шивала ветхий синий небесный ситец и белый зимний шёлк суровой, инистой колючей проволокой.

Так шло время, и старилась Вера, и не страшна ей была старость её, потому что старость — это были дожди и метели, морозы и слякоть, ливни и вьюги, пурга и бураны, ветра и льды, а это всё была великая жизнь, и жизни она не боялась, а приветствовала и любила её. В жизни могло совершаться небывалое и происходить давно жданное. Жизнь была сплетена из непредсказуемых нитей и узнаваемых узелков. Таяла память, но просыпалось сердце, и многое Вера помнила чувством — чувство никогда не обманывало, не предавало. Не подкапывало, не крало. Не душило в питоньих объятых.

Она всё яснее видела вдаль, и люди говорили ей: «Прозорливая!» — и становились на колени, и припадали лбом к её стопам. Она крестила людей и шептала: «Не стою я вашего поклоненья, я недостойная, я — одна из вас». И радовались, и веселились люди, что Вера — одна из них.

Вера предсказывала находение заблудившихся в тайге детей и скорую смерть бодрых здоровяков; она предсказывала северное сияние над Енисеем и чудесное возвращение царей-осетров к берегам Маны. Предсказывала, что с небес в тайгу упадёт громадный чёрный камень, и камень падал, ярко-раскалённый,

и пожигал вокруг себя деревья; а потом, остынув, чернел и выглядел цветом как хобот смерча, что налетел из Саян. По её знаку люди усыновляли сирот и уходили в семинарию — учиться на священников; женщины, которые слыли бесплодными, зачинали и рожали, и Вера сама нарекала детей и, хоть права на то не имела, за отсутствием в таёжной обители священника совершала сама обряд крещения. Да тут появлялись и батюшки; то расстриги, то те, кто отучился в городе, то те, кто узнал о таёжном дерзком ските и являлся сюда, смущаясь, с просьбой: «Примите меня!» Его принимали. Однажды появился человек, седые волосы всклокочены, на башке то ли скуфья, то ли старая пилотка, в одном ухе серьга, другое топором обрублено, вместо рясы — землю кафтан метёт, может, в оперном театре из костюмерной стащил. «Как тебя зовут?» — спросила Вера. «Алёшенька!» — придураясь, зверино скривился мужичонка, сморщил нос. Вера закрыла глаза, и белым бледным прибоем времени захлестнуло её загорелые на енисейском солнце щёки. Мужики потихоньку строили святые дома: сперва часовни, в честь Божьей Матери Казанской, в честь великомученицы Екатерины, потом и деревянный маленький храм возвели. В честь кого храм-то будет у нас, так спросили Веру. Вера недолго думала. Улыбнулась и

ответила: «В честь Алексия, человека Божьего».

Во храме служили службы, всё честь по чести. В синие густые, как сметана, великие морозы вечерами собирались в домах: то в одном, то в другом, — дети обители очень любили эти вечерние посиделки, просили взрослых о сказках, о страшных историях, и матери и бабушки рассказывали им, как святых, чьи имена дети носили, мучили и терзали цари и короли, и как стойко святые все муки терпели, и в котлах с кипящим маслом, и на дыбе, и на костре, и на кресте, и под плетями, и как из окровавленного рта доносилась только хвала Господу: «Христе Боже, спаси и помилуй мя!» А однажды нагрянули стражи порядка, и испуганно глядели дети на фуражки и погоны, на начищенные сапоги и чёрные куртки, и кричали на всю заимку стражи: «Разогнать! Снести! Разрушить! Сжечь! Не положено! Штраф! Всех в тюрьму!» — и вышла к стражам Вера, раскинув широко руки обочь спрятанного под рясой худого тела, и громко, на всю тайгу, обратилась к пришельцам: «Только вместе с нашей обителью — и нас всех убивайте и сжигайте!» — и когда люди услышали это и увидели строгое твёрдое лицо Веры под туго завязанным апостольником, убоялись они выражения её лица, слишком страшным оно было — таким страшным, что и не человеческим вовсе, а небесным

лицом: так вселенская гроза молнии рассыпает из чёрных могучих туч.

Стражи порядка укатили прочь на машинах и мотоциклах. Один из батюшек увязался за ними в Красноярск на попутке. Вернулся, гладил бороду: «Живите спокойно, братья и сёстры! Не тронут нас никого!» Кого уж он там, в городе, улестил, каким властям в ноги поклонился — никто не узнал, батюшка — рот на замок, а Вера не спрашивала, только подошла под благословение и морщинистую руку батюшке тихо поцеловала.

Во всякую избу на заимке заходила Вера, и везде старались угостить её повкуснее, да мало и скудно ела она, всё меньше ей требовалось земной еды. Она молилась, глядела в небо. Наплывали из иных земель облака. Громоздили, перевивали бирюзовые, жемчужные небесные воздушы. Умирали насельники, Вера их хоронила, и все вместе с ней пели над гробом панихидные молитвы, и батюшка возжигал ароматы в кадиле, сделанном из рыбацкого котелка, а окрестные кедровые и ёлки пахли сильнее и гуще святого дыма, и прибывало могил на маленьком лесном кладбище близ заимки, и думала Вера: «Вот и ещё один, ещё одна, Господи, прими с миром душу живую; тело мертво, но ведь душа-то жива, и взыскует Страшного Суда, и верит, и ждёт».

Предсказала Вера однажды пожар, и правда, загорелся на заимке овин; там насельники сушили не только снопы, но и сено скоту в зимний запас. Воды много, да Енисей далеко, не потушишь, на реку не набегаешься! Вера закричала: «Песок несите! И мокрые одеяла!» Мочили одеяла в воде и набрасывали на пламя; засыпали огонь песком. Спасли заимку! Не перекинулось на избы пламя. Все люди на колени встали и молились на Веру. «Ты чудо совершила!» Вера прижимала палец ко рту. «Никогда не говорите так. Бог спас».

Насельники, все до одного, стремились услужить Вере: кто — выстирать ей рясу и апостольник, кто — нажарить картошки на огромной, как шаманский бубен, сковороде, кто — нанизать на леску сухие ягоды рябины и подарить Вере чётки, тридцать три бусины, по числу земных лет Господа, кто — сварить ей варенье из жимолости, или из лимонника, или из брусники, кто — помыть полы в её избе: и мыли, дожелта отскабливали ножом и тёрли мыльной тряпкой, а потом в кувшины и трёхлитровые банки ставили купальницы и сияющие жарки, весенник и багульник, рододендрон и васильки. И благоухала Верина изба. И спрашивала она себя: Господи, это ли не счастье! И отвечала сама себе: Господи! спасибо, что Ты подарил мне его. На все оставшиеся мне годы.

«Только бы не война, — шептала, — только бы не война».

— Птиченька, моя дивная жар-птиченька,

Куда рванулась из рук моих ласковых, сестриченька?

Жарком таёжным в моих руках всё билась,

А нынче в орлана заморского влюбилась?

Перья твои солнечные пуще гиацинта горят,

Уж не я ли чистила-лелеяла твой яркий наряд!

Ослепила ты собою все мои небеса,

А в руках моих, любовь, побывала всего полчаса...

— Ах, моя душа,пусти, едва дыша!

Любовь-то в клетке не стоит ни гроша.

А ты, душа, ничего не знаешь про меня:

Я-то птица Феникс, всегда рождаюсь из огня!

А полечу я в небеса ко Спасителю Богу нашему,

Долечу в небесах до самого Суда Страшного,

Прилечу ко Богу Господу, сяду Ему на плечо,

Клювом золотым Его поцелую горячо...

— Птиченька моя, да ты ж моя живая душа и есть!

Всякое жар-перо в тебе могу перечесть.

Тебя, жаркая моя, как по нотам пою:

А ты всю жизнь рядышком пела судьбу мою!

Куда же ты, светлая, от меня летишь?

Зачем ты, приветная, меня не простишь?

— Лечу я, хозяйка моя бедная, во Град Небесный Иерусалим,

А во Граде том Небесном курится Божий дым,

А во Граде том Небесном Божьи птицы поют,

Во свой небесный хор меня манят, зовут!

А во Граде том Небесном Спаситель на троне сидит,

На троне сидит, на землю во слезах глядит.

Головёнку задери, Спасителю помолись:

«Спаси мою душу! Спаси мою жизнь!»

— Да разве ж я, птиченька, усердно не молюсь?

Да разве ж я, птиченька, слезами не льюсь?

Да я в тот Небесный Иерусалим пешком бы ушла,

Лишь бы с Господом посидеть хоть на краешке стола!..

— А Он тебе скажет, хозяйка: неси молча свой крест!

А Он Царём Мира глянет с небес окрест,

А ты припади к Его стопам, поцелуй Ему ноги да обними,

И Он поцелует тебя одну между всеми людьми.

Все крест несут, умирают на войне, погибают от птичьего клёкота,

Придёт Страшный Суд, а ты неси свой крест да без ропота,

А Град Небесный пусть сияет, заоблачный, над забытой тобой,

А ты неси свой крест, не плачь, улыбайся, умирай, песню пой.

Шли годы, и вдруг Вера захотела выбраться из тайги хотя бы на один день и снова увидеть город, где она выросла и прожила полжизни. Насельникам сказала: «В Красноярск побреду!» Люди перекрестили её: «Счастливо, матушка!»

Никто и не спросил, вернётся, нет ли.

Стояла зима, и гуляли по оврагам и площадям белые и чёрные ветра. Дул полуночник, лютый заморозник, льдом покрывались стрехи и ветви, звенели, стучали друг об дружку. Каменными бутылками возвышались на снежной скатерти суровые дома, они молчали, и душа Веры молчала. Она не узнавала город, а город не узнавал её. Встречи не получалось. Люди не глядели в её сторону. Только дети дивились на странную чёрную монахиню, твёрдо, по-солдатски идущую по обросшим наледью тротуарам. Вера не глядела на красный свет светофора и детей не видела.

Она не видела времени. Время растворилось, как сахар в чае старушки Расстегай.

Вера заходила в магазины и выходила из них наружу. Денег у неё не было. Заходила в парикмахерские, там юные нежные девочки подметали щётками чужие остриженные кудри. «Вас постричь?» — вежливо спросила её старая седая парикмахерша, сама коротко стриженная, как мужик-клоун. Вера поклонилась и попятилась. Чуть не разбила локтем стеклянную дверь.

Зашла в забавный магазин, там чирикали щеглы в клетках и быстро, весело бормотали всякую чушь зелёные и синие попугаи. Сильно пахло кошачьим, собачьим и птичьим кормом. «Купите попугайчика! — протянула Вере клетку продавщица. — Очень понятливый! Знаете, он даже поёт песню такую... ну эту, старинную... а, вот! лучше нету того цвету, когда яблоня цветёт! Боря, Боречка, спой! Не стесняйся!» Зелёный попугай громко и картаво запел: «Лучше нету той минуты, когда миленький придёт! Как увижу, как услышу...» Оборвал пенье. «К-к-как увижу... ка-а-а-ак... ус-с-с... лышу... как...» От стыда спрятал зелёную хохлатую башку под крыло. Продавщица зарделась. «Ну Боречка, ну что ты стушевался! Тётя тебя не обидит! Тётя тебя сейчас купит! Правда?» Вера развела руками. «Простите. У меня нет денег. А вот дети у меня есть».

Да, у неё была целая заимка детей. Как бы они подивились на такого попугая!

И тут продавщица сняла клетку с полки и протянула Вере. Косилась на её чёрную измызганную рясу. «Вы, небось, в приют какой ходите?.. с молитвами?.. в детский дом?.. Да, там рады будут... возьмите!» Вера обняла обеими руками клетку с попугаем.

А на улице валил снег, шёл призрачно и густо, а потом еле видно, невесомо, серебряные тончайшие нити прошивали серый воздух, дымы и гарь, протыкали близкую ночь гудки и звонки трамваев, разрежали визги машин, некуда было идти Вере, негде было ей ночевать: о квартире своей, откуда она тысячу лет назад ушла в Иерусалим, она и думать не хотела, да и не было просто этого бедного жилища, зачем о нём и вспоминать, только сердце надрывать. Давно дверь взломали, всё её милое, родное на снег выкинули, иные люди заселились в весёлый лёгкий воздух, которым она дышала. Жизнь! Всего лишь жизнь. А если бы я умерла, думала Вера, ведь некому тогда сокрушаться о потерянном жилище! Пусть люди живут там, где она жила! Пусть о ней не думают. Они ведь её не знают. И никогда не узнают.

Заморозник усиливался, ночь уже обрушилась на город, со звезда вышили небо гладью и крестом, и Вера вспомнила,

как она вышила свою старую, ещё материнскую думку. И думку выкинули, а может, сожгли. А может, сейчас на ней кто-то спит? Под щёку подложил? Ох, хорошо бы! Хоть что-то останется после неё!

Чёрный крест. Красный крест. Гляди, не перепутай.

Она прижимала клетку с попугаем к груди, к тонкому зипунчику, подшитому козьим мехом. Снег залетал в клетку, вызвездил её золочёные прутья. «Замёрзнет, — думала Вера тревожно, — замёрзнет, как пить дать». Вот и повеселила детей. Надо в тепло. В укрытие. Снег и ветер — это война. Жёсткий снег летит, стреляет, бьёт в лицо из-за угла. Вера огляделась; все дневные заведения были закрыты, а ночных она бы никогда не нашла. Ангел денный, ангел ночный! Помогите мне! Где вы!

Она из раструба улицы вышла на площадь. Огни обняли её и закуружили. Фонари качались и плясали, окна вспыхивали, плыли во тьме яркими лодками, и люди, далеко и глубоко, плыли в них, переплывали время. Снег повалил сильнее, заволакивал призрачным белым кружевом гранёные стаканы фонарей, и Вера чуть не заплакала — снег привиделся ей кружевами покойной Анны Власьевны, и услышала Вера лёгкий деревянный стук коклюшек, костяшек: это отступивало мгновенья время, а кружева лились с чёрных нефтяных

небес, обкручивали, обвивали раненых любовью и болью, бинтовали им раны сквозные, рваные, целовали мятным детским, праздничным холодом.

И вдруг — раз, два, разошёлся в обе стороны плотный морозный воздух. Мягкий медовый свет, полусфера огня, и скос старой забытой мостовой, и в круге света стоит каменный стол, а за ним люди сидят. Слепу да издали не разглядела Вера, что за стол и что за люди. Даже и не подумала, почему не в доме, а на улице за столом расселись. Подходила всё ближе, ускорила шаг, крепче клетку с дарёной птицей к сердцу прижимала. Вот уже стала различать за каменным грузным столом лица. Метель поднималась. Взвихряла волосы женщин, кисти скатерти. Длинный стол, и в центре стола сидит человек. Руки его спокойно лежат на столе, ладонями вверх. Он сделал вдох, другой, так дышат дети после плача. Вера сама так прерывисто дышала, когда мать в детстве била её за провинность, и она часами рыдала в пыльном углу. Губы распухали, рот наполнялся горечью. Это другая была Вера; не она. А по обе стороны от человека — люди. Гости! Это он, видать, хозяин, всех гостей созвал. Что-то он гостям такое сейчас сказал! Будто выстрелил в них. Слово — пуля! Кому в грудь попало? А они, люди-то, отвечают хозяину — не ртами, не глоткой: жемами. Руками!

Пальцами! Сложенными трубочкой губами... Свистнуть хотят, дышат, как говорящие птицы... Кто руки лодкой сложил... Кто ладонь вперёд вытянул, желая спросить... а может, доказать... О чём они? Вера не слышит. Надо подойти ближе. Ближе.

Она сделала шаг, другой вперёд — да так и застыла, с клеткой в руках, с птицей, кою посекал призрачный железный снег.

Справа от хозяина сидели трое. Мужик бритый, а щетина на скулах седая, и лоснится потом сморщенный лоб, череп — овалом каменного яйца, а руки почернели от работы, будто бы их коптили на коптильне, как хариусов или свежевывловленную кумжу. Женщина, лоб туго обвязан красным платком. И кофта красная расстёгнута, и видны в вороте шея и грудь, и чёрный потёртый гайтан, и морщины, они текут по груди, как дождь или слёзы с подбородка. И третья, баба, тут же, вплотную к ним сидела; три красных язвы чуть ниже рта, будто три красных клеща по скуле сползают. Три родимых пятна! Их Вера сразу узнала.

А после узнала и мужика, и бабу в красном платке рядом с ним.

Узнала — и содрогнулась. Её отец и мать.

И тётка её, та, что в Лесосибирске жила.

Трое... троица... живая... почему у отца на лбу — колючего

венца нет... той метки Туруханска...

Вера застыла. Снег бил в неё, как в бубен. Отец, Емельян Сургут, смотрел и не видел её. Мать, Дарья Сургут, ту же затянула красный платок. Вера видела всё. Она видела, как мать ближе придвигает к себе стакан, как отец тяжело, натужно тянет руку к обклеенной аляповатыми этикетками бутылки, и тёмно-алая жидкость вырывается из горла и страшно булькает, льётся в пустой ледяной стакан. Доверху стакан налил. Щедро. Тётка из Лесосибирска поглядела и облизнулась.

Слева от хозяина сидели тоже трое. Вера даже не щурилась. Глаза её обрели речную, прозрачную зрячьсть. Узнала! Родные! Какое половодье, безумье какое... Живые! Анна Власьева, душечка, кружевница моя светлая! Спасибо, такой нежный снег мне навеки сплела! Старушка Расстегай деловито отламывала от куска, лежащего на расписной тарелке, маленькие кусочки и весело отправляла их в рот. А что на тарелке? Пирог! С чем?.. с чем... не различить... с красной ягодой такой... кровавой...

А третья, кто же третья?.. А... узнаю... та медсестричка в столичной больничке... сестричка-птичка... уколы мне всё делала, когда меня раненую с улицы в палату привезли... укол сделает — и по руке погладит, и всё приговаривает: не больно?.. не

больно?.. Нет, говорю, не больно... Она меня кашей из ложки кормила...

А рядом с родителями Веры сидели ещё трое. И тут парадом командовал мужик. Бритый зэк, на волю отпущенный. И стол трясся, как будто не площадь под ногами, а пол вагона, и поезд идёт, колёсами стучит. Это он, зэк лысый, ловко вино разливал. И люди, кто что мог, подставляли. Кто чашку. Кто плошку. Кто мензурку. А кто просто руки свои. Складывал живой кастрюлькой и протягивал. И пальцы плотно сжимал. Ни капли не выльется.

Второй-то — со змеёю восседал! С громадным питоном, весь в пятнах змей, как яростная яшма, а уж скользкий такой, и блестит, будто выкупанный. Жирный, может? Вера помнила гладкость чешуйчатой страшной кожи. Она проводила по ней трусливой ладонью и тихо смеялась. Циркач, смелый Валя, змеиный царевич, и ты здесь, за столом! А, у тебя уже налито вино! Куда? В миску, из неё же питон твой ест! Всё живое ест из одной миски. Не забудь.

А третий, третий... ох, волна поднимается... и сейчас опять, опять смочит тебя с палубы — в зелёную пропасть... Алёшенька!.. вижу тебя, да ты хоть скажи мне, как там, на небесах?.. ангелы поют тебе, монаху-расстриге, свои лучшие, счастливейшие

песни?.. Ты коньяка хочешь, одесского?.. нет, сегодня только вино... куда тебе налить?.. в эту битую рюмку больную?..

А подале святых старух и святой молодухи сидела ещё одна триоца, да какая! Всех, всех узнаю, дорогие! Сестра Васса, щербетунья смешливая, ничуть ты не изменилась, всё такие же хулиганские солнечные веснушки у тебя на носу! Борода ты чёрная, ветрами кручёная, Липа Гузман, серьга морская в ухе, подпусти сибирскую матерщинку, да разве ж ты откажешься выпить на дармовщинку! Праздник есть праздник. Матушка Мисаила, древняя ты старуха, ещё шажок, и схимница, прости меня! За то, что я твоих молодых смертных мук в том турецком весёлом доме не знала, не приняла. Да мы с тобой обе грешницы. И мы с тобой обе грех наш давно отмолили! На всех исповедях! Липа, разливай! Вон они, монастырские чашки, жадно под сладкую кровь подставлены!

Двенадцать... двенадцать...

Веру как стукнули тяжёлым кулаком в грудь. Она покачнулась. Клетку из рук не выпустила. Двенадцать, как она сразу не поняла! И хозяин — это...

Она встала в снег, на засыпанную твёрдой крупкой снега, как енисейскими перлами времён Ермака, в судороге веков выгнутую мостовую перед Господом на колени, и попугай из клетки

внезапно резко крикнул, как новорождённый младенец, на всю площадь:

— А-а-а-а!

А потом — человечьи слова сумасшедше, хрипло прошептал:

— Вся душа моя пылает! Вся душа моя горит!

И все, кто мог за каменным тяжким столом наливать вино, все всем наливали; люди подставляли стаканы и бокалы, пригоршни и чашки, мензурки и собачьи миски, и даже шапки, и даже треухи и кепки, только Вере одной нечего было под живое вино подставить. Лилась кровь Господня, изливаемая во оставление грехов, и глаза Веры жадно шарили по столу, кровь-то тут, наливают, от души, а где же хлеб, где же Тело Христово, без него же никакого Причастия нет и быть не может, хлеб!.. хлеб... Дайте хлеб! Разломите хлеб! Бросьте его на каменный стол. Это самая великая милость! Война начнётся — никто вам его, хлеб, уже не бросит! Ни под ноги, ни в руки... не спрячете за пазуху...

И видела Вера: не только двенадцать сидели за каменным столом, и прозрачный, косо падающий снег не только над головами сидящих складывался в многогранники, виноградные грозди, корабли с парусом в виде месяца, медленно плывущих серебряных рыб, трепещущих крыльями

смелых голубей, звёздные якоря, сверкающие венцы, плывущие среди планет монограммы, вольно летящих орлов, катящиеся во мраке черепа необитаемых планет, треугольники, стрелы, восьмиконечные звёзды и иные восточные тайные узоры: за ними сидели и вставали рядами другие люди, они всё прибывали, и рыбаки с Енисея, и торговцы с жарких улиц Иерусалима, и старуха Лиза из деревни Верхний Услон близ широкой индиговой Волги, и загорелые, со злым прищуром, солдаты посреди сирийских руин, в пыльном пятнистом камуфляже, и оркестранты, что восторженно били смычками по пультам, когда в зале публика хлопала в ладоши, и холодно, сурово молчащий за ресторанным столом, до фарфоровой гладкости выбритый N с беспомощными глазами нашкодившего ребёнка, и кудрявая сестра Веры Марина, её убил муж, когда она у мужа хотела украденную дочку назад похитить, и поросычье лицо Марины в застолье глядело живое, не разможжённое пулями, и смеялось густо, ярко накрашенным ртом. И много всякого народу ещё стояло за плечами и спинами тех, кто сидел за столом, много всех толпилось и качалось штормовыми высокими волнами, но все обступали стол тихо, никто не шумел, не гудел, не бушевал, не буянил; не выкрикивал слов шуток или проклятья.

Вера обвела всех глазами. Это всё был её народ. Посланный ей Богом на земле.

Тогда кто же такой маленький говорящий попугай, что пришил, нахохлился и смирно, печально сидит в золочёной клетке, посекаемый безжалостным ветром и снегом?

Может, его надо родным мертвецам и родным живым — просто — подарить?

В знак... в знак любви... и — памяти...

Птица, она же восстаёт... из любого огня... оживает...

После любой войны... любой разрухи... птица — на площади... на пепелище...

Феникс...

— Это Феникс! — крикнула Вера и сделала отчаянный шаг вперёд.

Протянула золотую клетку сидящим и стоящим за каменным столом.

Поставила клетку на край стола.

Попугай чирикнул, как соловей.

Вера крикнула беспомощно:
— И мне!.. и мне...

Озиралась. Искала глазами пустую посудину, для вина безумного зимнего Причастия.

Посудины — не было. Ни рюмки. Ни напёрстка.

Тогда из-под стола вышла, качаясь на слабых лапах, тощая рыжая собака. В снежном свете она светилась, как золотая. В зубах собака держала за дужку

старое, ржавое детское ведёрко. С таким ведёрком Вера девчонкой играла в песочнице. Вера вынула из собачьих зубов ржавую дужку. Протянула детское ведёрко отцу. Он сидел за столом всех ближе к ней.

И отец стрельнул глазами в Веру из-под голого лба, где кожа собиралась старой гармошкой; взял в узловатые грязные, от грязи чёрные пальцы бутылку, в ней вино не кончалось, и плеснул молча в детское Верино ведро, не глядя, резко, жестоко, — и пролилась кровь Господня на камень столешницы, и все за столом, близкие и далёкие, взяли в руки свою посуду, кто первую, кто последнюю в жизни, а хлеб, где же хлеб, как же Причастие — и без хлеба, билось у Веры в висках, хлеб, хлеб, где...

— У тебя! — визгливо крикнул ей попугай.

И Вера полезла за пазуху, за воротник козьего зипуна, и потрясённо вытащила под снег и ветер жёсткую горбушку — ту самую, что люди бросили ей под ноги в концертном зале, желая над ней насмеяться. Разломилась надвое. Одну половину подала отцу, другую — матери.

И разломилась мать и отец Веры её хлеб, и передавали другим людям, а те ломали куски в свой черёд, и другим отдавали, а те — третьим, четвёртым, а те — сотням и тысячам, во тьме сущим.

И Господь поднял руку и благословил всех за Вечерей Своей.

Весь Свой народ — благословил.

— Примите, ядите...

Когда Вера наклонилась и испила вина из детского ведёрка, оно ударило её в голову и опалило душу. Попугай глядел на Веру из прозрачной клетки круглым золотым глазом.

Белые кружева мели, метались во тьме живой и заметали всех: и грешников, и святых, — укутывали то ли в родильные простыни, то ли в смертный саван.

На святой заимке не читали газет, не смотрели телевизор, не слушали радио.

Детей учили грамоте по старым книгам. Складывали и вычитали на старых бухгалтерских счётах. Электричества не было: в сумерках и в ночи жгли лучины и свечи. Иногда жгли сушёную миногу, и на всю избу солёной рыбой пахло, её горящим жиром и её жжёными плавниками.

Люди жили тут как в Раю: деревья, травы и цветы росли, тайга шумела, музыкой гудел кедр, пихты и старые лиственницы, попевали овощи и ягоды, колосилась пшеница на крохотном поле — его вспахивали старинным плугом, — ржали в конюшне лошади, мычали в хлевах коровы, и слишком рядом была земля, и рядом — река, а ещё ближе — небо, и иногда Вере казалось: вон он, Град Небесный, её любимая обитель, — над ней,

в зеркальных, сияющих сколами и друзьями, медленно падающих прямо в сердце облаках.

Газет не водилось, а слухи доходили. Однажды осенью слух прилетел про знаменитую столичную певицу. Утонула, а поговаривают, утопили, а ещё вернее, её любовника в убийстве заподозрили да взяли-арестовали, руки скрутили, в тюрьму посадили. Да не в тюрьму, а в изолятор! Что ещё за изолятор? Под следствием он. Наследил! Да уж точно, виноват. Из ревности утопил-то? Да кто его знает, однако! Однако, из ревности! Из-за чего же ещё! Мужик, баба, любовь, злоба... звери, звери люди все...

Вера выпрямилась, слушая тот слух, и стала похожа на каменную статую той своей любимой, мёртвой рыжей собаки. Как звать певицу? Вы не помните?

Как же не помним! Очень даже помним! Ну, эта, очень-пре-очень знаменитая! Громыхало везде имя её! Со всех сцен! Все радио ею захлёбывались! Ну эта, эта, да ты, матушка, наверняка знаешь... На «зэ» вроде, зэ-зэ-зэ... Зиновия звать её!

Вера плотно сжала губы. Окаменела лицом. Отвернулась. Пошла. Остановилась.

Внутри неё раскрылось ледяным бутонем молчание и тихо, мучительно-медленно открывалось, как бедный, на пепле взошедший цветок.

Ни слова Вера не проронила весь день. К ней обращались —

молчала. Ей в лицо кричали — молчала.

Ночь она не спала.

Утром к ней опять приступили; она молчала; и её оставили в покое.

Люди сочли, что она дала обет молчания.

И зауважали её, благоговейно склонялись перед ней; шептали вслед ей: «Ты уж выдержи, матушка, обет, тяжёлый он, да мы за тебя помолимся».

Вера молчала день, месяц, полгода, год.

К её молчанию привыкли.

Я стояла пред каменным этим столом, не соврать, стояла.

И скатёрка свисала до полу снежным саваном, одеялом

Истончённым, ребячьим, века назад папиросой отцовой

поцелованным прокажённо,

— Камчатной, фарфоровой жизнью,

чугуном и жидкой сталью сожжённой.

Я стояла пред этим святым столом, себя спрашивала: верить? не верить? —

Все мы лишь Божьи слуги, лишь на побегушках весёлая челядь,

Так-то лучше: Царей казнят, а мы встанем в ряд, и ничего нам не будет, —

Мы не боги, мы так, при дороге, мы беглые люди.

Я стояла... а Хозяин на меня вдруг как покосится!

И я задрожала, бормочу: Господи, мне всё это снится —

Вон, живы отец мой и мать, вон друзья мои, а их убили,

Вон лица любимых, погребённых давно в лютой серебряной пыли!..

А они тут все, за столом Твоим, великий мой Боже.

Ты к Причастию нас созвал, и пришли напролом, —

а слишком поздно, может?..

Наготовлено нами на кухне железной рыбы, стального мяса...

И всё врём мы сами себе, что не знаем часа!

Так зачем Ты рабочей рукой, как клещами,

сцепляешь со сладкой кровью бутылку?!

Зачем кричишь мне: «На выход! С вещами!» —

и в руках Своих меня трёшь обмылком?

Зачем отщипнул кроху от площади, от зимнего каравая,

И тычешь мне в руки, и плачешь: «Душа твоя, она живая, живая!»

У Тебя на небесах все живы, я давно это знаю.

Хоть перережь все жилы — а смерть, она мне неродная.

За ночь одну до Распятия Ты
сказал нам: вкусите Меня, вы-
пейте, растащите

На крошки, на пуговицы, на
глотки, на хрипы, на теста ком-
ки,

на знамёна с кистями, на рья-
ные песни,

на красные пьяные нити...

Из жизни Моей, Ты сказал,
вы себе тысячу жизней сошьёте.

Над жизнью Моей, Ты ска-
зал, вы, истошно крича,
умрёте в любви и полёте!

Так что ты стоишь, девчон-
ка?.. Давай!.. налетай!.. боли
полная чашка!

И вымазана вольным вином
невинной вьюги рубашка!

И хлеб тёплый ещё... отку-
си... вдохни...

...запах рубахи отцовой.

Запах варенья матери в мед-
ном тазу. Запах соломы, половы.

Запах мёда и рыбы печёной.
Тайная Вечера длится.

А на краю стола в клетке на-
хохлился Феникс, зимняя птица.

И Ты, Господь, смеясь, от-
крыл золочёную дверцу клетки.

И Ты сказал: лети, птица Фе-
никс, шалава, шутиха, кокетка!

Лети, шматок золотого огня,
попугай, правду лишь говоря-
щий,

В мир Божий, ни на что не
похожий,

слепающий, грешный, святой,
настоящий.

И я причастилась. Вином за-
пила благодать зимнего хлеба.

И мать моя мёртвая, и мой
отец причастились зимнего неба.

И люди все за столом камен-
ным, земляным причастились

Тела Господня и Божией Кро-
ви,

Вкушая хлеб, выпивая вино,
забывая друг друга давно,
засышая на полуслове.

Ровно год спустя Вера сидела
на берегу Енисея, у самой воды.
Она молчала, внутри себя чита-
ла Иисусову молитву. Сидела
на большом грузном, гладком
валуне, опускала руки вниз, и
пальцы её слепо ловили камни
на песке, то острые, жгучие, но-
жевые, то нежные, глаже жен-
ской ухоженной кожи. Енисей
тёк мерно и мощно, серые воды
клубились и разымались, тёмные
и серебряные рыбы метались те-
нями, являлись потусторонним
воинством подводным. Топыри-
ли плавники копьями, штыками
винтовок. Взблёскивали безум-
ными секирами хвостов. Исче-
зали. Хоровод лиственниц, пья-
но-кривых от северного ветра,
махал пожелтелыми скорбными
ветвями. Река дышала близкой
зимой, неизбежным прощаньем.
С чем? С кем? С навсегда возлю-
бленным, единственным? Госпо-
ди Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешную. Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешную. Господи

Иисусе Христе, Сыне Божий... За спиной Веры слышались шаги. Камни хрустели под чужими ногами. «Из насельников кто-то, вечереет, холодает, меня, матушку, сейчас домой уведут. Может, дитёнка за мной послали».

Вера обернулась и прижала ладонь ко рту.

Зиновия надменно глядела на неё.

— Вот ты где. Спряталась. От людей. На реку глядишь. Гляди, гляди! Река, она...

— Здравствуй, — трудно сказала Вера и легко встала с валуна.

Тяжко было говорить после года сумрачного молчания, промелькнувшего, как один миг.

— Здравствуй! — крикнула Зиновия.

Эхо разнесло её крик вдоль по реке.

— Что ж ты не удивляешься? — ядовито спросила Зиновия.

— А чему я должна удивляться?

— Что я жива!

— Значит, это всё был обман?

Зиновия глядела на Веру глазами круглыми, совиными, торжествующими. Её зрачки метали чёрные искры, а всё лицо горело мрачным костром.

— Да! Обман!

Ветер собакою лизал лицо Веры.

— Зачем?

— Это я всё устроила! Всё так подстроила! Думаешь, легко

было всё состряпать?! Но я состряпала. Мне — помогли! Он, гад, за решёткой. Теперь с тобой разберись!

Зиновия шагнула к Вере, а Вера стояла столбом. Каменным столбом. Соляным. Деревянным.

«Я осенняя лиственница, а это мой последний ветер».

— Это война? — тихо спросила Вера.

— Да! — крикнула Зиновия. — Война!

— Не ведаешь, — трудно, хрипло выдавила Вера, — что творишь...

— Очень даже ведаю! Я тебя — ненавижу! Все тебя любят, все тебя любили всегда, а я тебя ненавижу!

— За что? — прошептала Вера, и северный ветер ударил ей в скуластое лицо.

— За то, что любят — тебя! Всегда! Любили! Тебя! И когда ты пела, и когда молилась! За то, что песни твои — лучше моих!

— Лучше... хуже... зачем...

— Да! Лучше! Нет! Вру! Не лучше! Мои — лучше! Я — яркая, сильная! Меня — издали видно и слышно! А ты, ты... серая мышь! Мышенька ты! Нищенка! Дрянь ты умоленная! Сволочь ты! Возомнила себя ангелицей! Святой! Никакая ты не святая! Серость ты и блёклость! Зола ты от костра отгоревшего! Мертвячка! Душонка твоя подлая, хищная! Меня охмутила, ко мне примостилась, подлизалась и, как я, певичкой стала! Людскую

любовь, людской восторг и восхищенье захотела в лукошко собирать! И к Богу ты метнулась — потому что сама нищая мышь! Не драгоценный камень ты! А серый булыжник! И песни твои — тьфу! И молитвы твои — ха, ха! Ненавижу!

Вера подставляла холодному ветру горячее лицо. Приоткрыла рот.

Ей трудно было говорить. И всё-таки она говорила это.

— Зина... Ты... Это — зависть! Ненависть — это зависть!

— Да что ты говоришь! — Зиновия подбоченилась. Волны злости морщили её красивое, хлёбое лицо. Оно у неё не состарилось, за эти годы только двойной подбородок, как у дородной царицы, вырос, да чуть обвисли румяные круглые щёки. — Да что ты мелешь, мышь! Это ты мне завидуешь! Люто! Ещё когда мы пели вместе и выходили на сцену, все так и шептались вокруг: вот, вот они выходят и поют, как сёстры, похожи, и поглядите, как эта, монашка, хромоножка, с ненавистью смотрит на великую певицу, ну да, серая монашка — великой Зиновии — яростно завидует! Великая Зиновия — бессмертна! А эта серая мышь в рясе, что она-то делает рядом с ней?! Поёт?! Это она только думает, что поёт! А на самом деле хрипит и квакает! Все вокруг говорили, вся публика, весь народ, что ты мне завиду-

ешь чёрной завистью! Мне! Яркой и гениальной! Мне! Я — бессмертна! Да! Бессмертна!

Ветер тихо стонал между ветвей осенних лиственниц и чёрных кедров.

— А ты — ты сдохнешь! Помрёшь под забором!

Енисей тихо гудел, шелестел за их спинами. Раскидывал громадные, серые водяные крылья.

И облака за их лопатками воздымались крыльями; и ветер хотел поднять, оторвать их, людей, от земли.

— Святая мышь! — выкрикнула Зиновия.

Вера молчала.

— Мышь никчёмная! Никому не нужная! Отребье! Мусор человечий! Тебя забудут! А меня будут помнить всегда!

Вера молчала.

— Чёрт меня к тебе понёс тогда в Иерусалим! Лучше бы я в тот клятый Иерусалим и не ездила! Мне тебя гадалка нагадала! Перед отъездом я к гадалке пошла! Сдуру! Она мне карты разложила! И перед зеркалом свечу зажгла! А в зеркале — ты! Мышь! Вот в этом своём чёрном платке дурачком! И гадалка в зеркало тычет пальцем и шипит: вот к ней, к ней должна далеко ты поехать, за три моря, в Святую Землю! Поехала, чёрт тебя возьми. Поскакала!

Вера молчала.

— А я-то ведь только сейчас поняла! Да! Только сейчас! Ты — мой двойник!

— Кто... — разжала губы Вера.

— Ну разве непонятно? Мы же похожи, чёрт, как сёстры! Да нет! Даже хуже! Ты когда-нибудь в зеркало со мной вместе гляделась?! Ещё скажи — никогда! Да сто раз! Тысячу! Ведь ты — это я!

Зиновия схватила за руку Веру. Другую руку сунула в карман плаща. Выдернула круглое карманное зеркальце.

— Гляди!

Зиновия приблизила лицо к лицу Веры. Ветер усиливался. Сорвал шляпку с затылка Зиновии, трепал концы Вериного апостольника. Зиновия вытянула руку с зеркальцем. Прижалась холодной гладкой щекой к щеке Веры.

— Гляди,мышь!

Вера заглянула в зеркало.

Она знала, что увидит в нём.

Увидела два одинаковых лица.

Себя — и себя.

Смотрела в оба своих лица, и вереницей, чудовищным веером раскрывались, распахивались картины их общей жизни, Вериной-Зиновьиной, глядел со дна времён утопленник-сын, звучала музыка, поднималась и рушилась волна оркестра, как великанское рыданье, и гладили Верины руки Зиновьино бельё на широкой, как льдина, гладильной доске, и несли чужие восхищённые руки на сцену громадные, с целый дом, букеты

цветов, розы, гвоздики, тюльпаны, гладиолусы, нарциссы, и чужие послушные руки складывали бешеные, дурманные цветы в пахнущую горьким бензином машину, и набрасывала Зиновия удавку на Верину шею, хрипела глотка, летел в лоб и губы первый нежный снег, горели по всей Москве фонари, сиял коньяк в графине, и стелили усталые руки постель, и клали руки дрова и хворост в богатый камин, отделанный зелёным, как Енисей, и алым, как флаг мёртвой страны, надгробным мрамором, мужская выхоленная рука брала женскую рабочую руку на уставленном заморской снедью ресторанном столе и сжимала, как рюмку пустую, приближались к микрофону поющие губы, летела песня, как живая молитва, а молитва становилась любовною песней, так и было в начале времён; Вера ждала, когда веер схлопнется, и он захлопнулся, свернули его в тонкую полоску, в древесную сухую ветку — одним движеньем, резким, бесповоротным.

— Ты меня убьёшь? — просто спросила Вера.

Стояла. Не убегала. Не спасалась.

— Я не тебя убью. Ты ж понимаешь. Я — убью — себя. Всё, как я и хотела. Когда утонул мой сын. Я хотела — себя. Теперь у меня получится!

— Это твой Страшный Суд! — крикнула Вера. Ей или себе, это уже было всё равно. — У каждого

свой Страшный Суд! И у тебя он будет! Сейчас!

Зиновия шагнула к Вере.

Её руки были пусты.

Ничего не было в руках Зиновии: ни удавки, ни ножа, ни пистолета, ни иного оружия.

Смерть она не держала в руках.

Она держала в руках пустоту.

А за её плечами гудела и пела ледяная вода.

«Вода, — поняла Вера, — Енисей».

Зиновия шагнула ещё, вплотную к Вере, схватила её обеими руками, обняла.

И потащила к воде.

Вера шла, ноги сами шли.

«Куда иду? Надо бороться».

Она шла покорно, не говоря ни слова.

Им было слышно дыхание друг друга.

Они вошли в воду.

Холод обжёт их ноги сквозь все чулки и юбки.

— Что ж ты не вырываешься? — шепнула Зиновия. — Тебе не хочется жить?

Они уже зашли в воду по колени.

Вера молчала.

— Это ты или я? Кто из нас сейчас утонет?

Вера молчала.

Над вечерней сумрачной, волчьей рекой пискляво, тоскливо кричали чайки.

Зиновия и Вера уже зашли в воду по грудь.

И тут дно вырвалось из-под их ног, и полетело вбок, и они полетели вместе с водой и землёй, взявшись, как сёстры, за руки, и Вера запомнила напоследок: рука другой женщины закидывается ей за шею, больно гнёт, потом её грубо толкают в спину, она валится лицом в воду, бьёт ладонями по воде, пытается выплыть, ловит заполяренный, хрустальный ветер жадным ртом, ловит ещё живыми руками встающие золотой закатной стеной, могучие облака, а ей тяжёлую руку на темя кладут и топят, чтобы скорей захлебнулась, вталкивают, младенца, опять в мрачные и кровавые родовые пути, вдвигают её обратно в холод, в мрачную последнюю осень, в близкую зиму, во тьму, что велика и беспредельна, нет ей конца, да и начала ей тоже нет.